



СЕРГЕЙ НОСОВ

ЧЛЕН
ОБЩЕСТВА,
или
ГОЛОДНОЕ
ВРЕМЯ

ПОЛКА КРУСАНОВА

СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ

Сергей Носов

**Член общества, или
Голодное время**

«Издательские решения»

Носов С.

Член общества, или Голодное время / С. Носов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-854022-6

Это был бы очень смешной роман, если бы не был страшным — Носов умеет рассмешить так, что начинаешь пугаться собственного смеха. Здесь представлена полная версия романа, который получил премию года журнала «Октябрь» (2000) за сокращенную журнальную публикацию. Что сказать еще? Стильно. Изобретательно. Провокативно.

ISBN 978-5-44-854022-6

© Носов С.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1. | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16 |
| Глава 2. | 19 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 25 |
| Глава 3. | 29 |
| 1 | 29 |
| 2 | 31 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 33 |

Член общества, или Голодное время

Сергей Носов

Импринт «Станционный смотритель»

© Сергей Носов, 2017

ISBN 978-5-4485-4022-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Падение самовара

1

Кого ни спроси (тех, кто помнит еще) – помнят до мелочей День Великого Катаклизма. Я-то помню день предыдущий.

В этот день я сдал Достоевского.

В 30 томах, или 33 книгах, двухпудовое, полное – сочинений собрание – я тащил на себе в этот день на далекий Рижский проспект, по-тогдашнему проспект Огородникова... – закоулками, огородами, проходными дворами, пролазами... – просто тамошний «Букинист», он работал по воскресеньям.

Почему я не взял такси? Потому что не было ни копейки.

Ничего, ничего, он бы понял меня, Федор Михайлович, и простил, а то бы еще и благословил даже на сдачу его сочинений (так я себя утешал), ибо знал он, что такое долги, кредиторы и неплатежеспособность.

Полагаю, при определенных обстоятельствах он бы сам отнес, не задумываясь, в «Букинист» на проспект Огородникова, окажись такой комплект у него пускай даже в единственном экземпляре – свое полное собрание произведений – со всеми рукописными редакциями, вариантами, приложениями, примечаниями, списками несохранившихся и найденных писем, сводными указателями, включая фундаментальный (в числе позиций более двухсот) указатель опечаток, исправлений и дополнений.

Уже по этому перечню видно, что я ПСС открывал.

Не то слово. Я прочитал все 30 томов, или 33 книги, от корки до корки – от первых слов *От редакции*: «Настоящее Полное собрание Ф. М. До...» – до – до последней опечатки по списку: «П. К. Раухфуса» вместо «К. А. Раухфуса».

И все 30 томов, или 33 книги, я прочитал за 3 дня и 3 ночи!

Это покажется невероятным. Поверить в это нельзя. Лично я ни за что б не поверил, что такое возможно!.. Но я знаю: возможно!.. За 3 дня и 3 ночи!

И это было со мной!

Весной 91-го я имел глупость посещать платные курсы сверхбыстрого чтения по методу Шелеховского-Картера. Тогда этот сомнительный метод широко разрекламировали в газетах, как «основной вспомогательный инструментарий метаинтеллектуального развития»; никто не знал, что сие означает, но верили, что что-то хорошее. Вот я и пришел по газетному объявлению в ДК им. Крупской, заплатил девяносто рублей (тогда я работал и мог позволить), попал в группу к студентам и домохозяйкам, наслушался умных речей, ощутил на себе прелести глубинного погружения в «метаинтеллектуальный сфероид расширяющихся потенциалов», закайфовал – в меру предрасположенности к этому делу. Нам говорили, что учат нас будто бы по рассекреченной методике ГРУ-ЦРУ; тогда все время что-нибудь якобы рассекречивали, а якобы рассекретив, тут же выгодно втюхивали восторженным потребителям через всевозможные платные курсы.

Трехсуточная атака на Достоевского была мне засчитана, как дипломная работа. Другие атаковали Теккеря, Серафимовича, многотомную «Жизнь растений», словари, энциклопедии, «Махабхарату» – в общем, то, что оказывалось под рукой. В целом я выдержал испытание. Получив свидетельство об окончании курсов и едва добравшись до дома, до койки, я, рухнув, понял, что еще чуть-чуть и сошел бы с ума, – я вырубился, уснул, стал поленом,

вслом, дирижаблем, оглоблей, а когда пробудился и посмотрел с ужасом на книжные полки, решил, что с Достоевским в одном доме мне делать нечего. (Забавно, что и жена моя – только уже по отношению ко мне, а не к Достоевскому – тоже пришла к аналогичным умозаключениям...)

Несколько дней я не мог смотреть на печатные знаки. А когда смог, то не смог внятно воспринимать напечатанное. Я не понимал, о чем читаю. Я даже не понимал, читаю ли я, когда я читаю, или я не читаю? А читал я так: или стремительно или совсем никак, вперив неподвижный взгляд в одну букву.

Я запил.

Водка подействовала благотворно; я исцелялся. Через месяц-другой я снова научился читать по-человечески: как все – сначала по слогам, потом бегло, – правда, влечения к чтению напрочь лишился.

А на Достоевского я не сержусь. (И он пусть не сердится – там...) Был бы Теккерей или Серафимович, было бы то же самое.

И то, что я продал именно Ф. М., в этом нет ничего символического.

А то, что продал не сразу, так это от лени. Вот, кредитора дождался звонка. И заспешил.

Спрашивается, зачем я ходил на эти идиотские курсы?

Объяснить невозможно. Все ходили куда-нибудь: на курсы прикладной астрологии, на курсы универсальной йоги, на курсы научного голодания... В стране кризис, почва уходит из-под ног, люди ищут опору...

Может, я хотел стать первоклассным корректором. (Никогда не хотел.)

Не знаю. Не знаю. Не могу объяснить.

2

...А вот чему я был бы рад придать значение (но не решаюсь), престранному разговору в троллейбусе, приключившемуся между мной и одним ниже обозначенным субъектом вскоре после того, как я получил за Достоевского денежку.

Разговор этот я нередко вспоминаю в деталях, но почему-то, вопреки моим вспоминаемым усилиям, ничто не убеждает меня в его значительности. Совершенно случайный. Абсолютно нелепый. Хотя – сомневаюсь. Или все же не так? Со значением или? А иначе мне чем объяснить цепь дальнейших событий?

Итак, по порядку.

Мой нетерпеливый кредитор проводил август в поселке Солнечном. А до Солнечного, как известно, можно добраться с Финляндского вокзала. А от проспекта того Огородникова до Финляндского ходит, по счастью, троллейбус – «восьмерка»; вот я и поехал на нем.

Я сидел у окна и листал от нечего делать (здесь бы надо подробнее...) старинную с ятями книжку. Называлась она красиво: «Я никого не ем», и вся кишела овощными рецептами. Эта книжка досталась мне в наследство от одной давней подружки, которой была не нужна, – ну а мне и подавно. Я сегодня ее собирался по случаю сдать, приложив к Достоевскому, но Достоевского взяли охотно, а эту нет, ну и пусть. Их право.

Ладно. Троллейбус наш повернул на Загородный. На остановке возле пожарной каланчи вошел некто и сел рядом. Я книгу листаю; не прошло и минуты, как он подает голос:

– Что-то интересное... Судя по всему что-то суворинское... Или нет? Маркса?..

– Энгельса, – обрезал я довольно-таки грубо. Но он не обиделся.

– Понимаю, – он дал мне понять, что ценит юмор. – «Анти-Дюринг» в переводе Веры Засулич.

Не обиделся – и блеснул эрудицией.

Я посмотрел на субъекта: зрелых лет, худощав, гладко выбрит. Он неприятно – неприятно доброжелательно – улыбался. И еще: несмотря на жару, был он в костюме. И костюм был с иголки.

Скрывать я не стал, пусть знает:

– «Я никого не ем».

– Вы?

– Нет, это название, – я закрыл книгу и показал обложку, – видите? «Я никого не ем».

– Зеленковой. Ольги Константиновны Зеленковой, – сказал мой сосед. – Как же не знать... 365 вегетарианских блюд... Петербург, тринадцатый год, если память не изменяет... У вас третье издание?

– Понятия не имею.

– А вы на титул взгляните.

– Третье, третье.

– Зеленков редактировал, Александр Петрович, супруг Ольги Константиновны, известный врач в свое время...

– Вот как? – поразился я необыкновенным познаниям.

– Он, он, – подтвердил незнакомец.

– А я и не знал. (И знать, честно говоря, не хотел.)

– В Харькове ее переиздали.

– Когда? – спросил я зачем-то.

– А недавно... Большим тиражом. В Томске – поменьше. В «Московском рабочем»... подождите, в «Московском» ли «рабочем»?.. или в «Столице»?.. нет, в «Московском рабо-

чем», так там, в «Московском рабочем» (понравилось ему в «*Московском рабочем*...»), аж сотысячным тиснули. Бестселлер.

Тут я сказал:

– Популярная.

– Что ничуть не умаляет ценность вашего экземпляра. У вас редчайшей сохранности экземпляр. Просто редчайшей.

Я заскромничал:

– Корешок поврежден.

– Пустое! – энергично возразил мой попутчик. – Это же поваренная книга, вы понимаете? – поваренная! Часто ли вы видели поваренные книги в издательских переплетах?

– Никогда не видел, – честно сознался я. – Только эту.

– И не удивительно! Такого рода литература до дыр зачитывалась. Елена Молоховец на аукционе дорожке Ахматовой идет прижизненной, почти как Чехов с автографом! А все потому, что в издательском переплете. Это Елена-то Молоховец! Она в каждом доме, у каждой хозяйки была, и где теперь ее переплеты? Нет, нет, берегите свою Зеленкову, такой экземпляр, я вам просто завидую. Разрешите?

Я хотел ему дать книгу в руки, чтобы полистал, если хочет, но он брать и листать не стал, а лишь прикоснулся к обложке двумя пальцами, тогда как «Я никого не ем» по-прежнему держал я. Мне стало смешно.

– Возьмите, не бойтесь.

– Да? Вы разрешаете? Знаете, там у вас, я видел, печать какая-то... на титуле... Разрешите взглянуть?

– Сделайте милость. Это первого владельца, наверное.

– Какая прелесть! Какая прелесть! – Он внимательно рассматривал печать на титуле. – Какая прелесть, однако!

Печать же (однако) была самая обыкновенная – овал, по краям надпись: «Кабинет для изучения массажа и лечебной гимнастики», – а в середине: «П. Я. Струць».

– Уж не родственник ли ваш? – спросил я попутчика.

– Родственник, да не мой.

– А чей?

– Откуда ж мне знать, – проговорил незнакомец, возвращая книгу. – Вам лучше известно. Я думал, что ваш. Но не ваш. Вижу, не ваш. В принципе, все люди родственники. И вы, и я.

– Но вы сказали «какая прелесть».

– Просто я от печатей, от книг с печатями, сам не свой. Страсть такая во мне... книги с печатями. Я их, знаете ли, коллекционирую... Каких у меня только нет их... с печатями. Извольте:

Долгат Фомич Луночаров

Общество друзей книги

– прочитал я на визитной карточке.

Значит, не сумасшедший. Как будто. А то уж подумал. Все может быть.

– Вам выражение «маргинальная сфрагистика» о чем-нибудь говорит? – спросил Долгат Фомич Луночаров.

– Нет, ни о чем.

– Сфрагистика это наука о печатях, позвольте напомнить, вообще о печатях. А маргинальная сфрагистика – то, чем я занимаюсь. Моя тема.

Я почтительно промолчал.

– Есть у меня Пушкин брокгаузский, великолепнейшее издание... А печать? Не догадаетесь: «Всесоюзный Совет рабочих точного машиностроения. Библиотека завкома имени ОГПУ». Как вам нравится?

– Редкий, должно быть, экземпляр, – сказал я уклончиво.

– Еще бы. Ваш тоже редкий.

– Вообще-то это не моя книга.

– Я сразу понял.

– Почему?

– Для приверженца беззубойного питания у вас не тот цвет лица, извините. Вы сегодня жарили что-то на свином жире, бьюсь об заклад.

– Верно, картошку...

– А вчера, не хочу вас обидеть, пили портвейн. Молдавский. Где вы только достали его. Все спирт «Рояль» пьют.

– Потрясающе, – вымолвил я, без дураков потрясенный, ибо, действительно, был угощаем вчера молдавским розовым в компании выпускниц не то Академии связи, не то Института культуры... (В тот год спиртные напитки *шли по талонам*.)

– Очень был бы признателен вам, – продолжал Долмат Фомич, – если бы вы нашли возможным позволить мне переснять как-нибудь титульный лист этого замечательного экземпляра – с печатью. Верну, верну обязательно!.. В моей коллекции нет ничего касаемо лечебной гимнастики. У меня больше по общественным дисциплинам, по сельскому хозяйству, по искусству...

Почему же не дать? Я дал ему книгу, пусть переснимет. Он бережно положил ее в кейс. Мой телефон записал и даже адрес, обещал позвонить. Спросил, когда лучше – утром? вечером?

– Утром. Вечером меня не бывает... – «трезвым» следовало бы добавить. – Только соседям не передавайте, у нас плохие отношения. (Под «соседями» я подразумевал жену с ее не скажу кем.)

– Понимаю. А может у вас по музыке есть что-нибудь? Я печать имею в виду... Нет? Хотя бы школы какой-нибудь музыкальной?

У меня ничего по музыке не было, ничего музыкального, даже слуха не было, не то что школы, – о чем я и доложил Долмату Фомичу, сам не знаю зачем. Медведь, сказал, наступил на ухо.

– Вот уж не поверю, музыкальный слух может развить каждый.

– А я не могу. У меня патологическое отсутствие слуха.

Я не обманывал. Я не чувствую ритма. Я не способен отхлопать на ладошах пять слов по слогам. Спеть что-нибудь – Боже упаси! Не способен танцевать. Буду наступать на ноги. Да еще не в такт. Самое невероятное: мне снятся музыкальные сны, а иногда (и нередко!) звучат в голове мелодии – знакомые, полужаномые и главное совсем незнакомые, я слышу их!.. но чтобы воспроизвести, хотя бы самую простенькую... никогда в жизни!.. Даже «Чижик-Пыжик» спеть не могу. Полное отсутствие слуха.

Я так и сказал. Вообще-то я человек скрытный, но не знаю сам, зачем-то я разоткровенничался.

– Выходит, внутри вас живет музыка? – спросил Долмат Фомич, привстав (его остановка).

– Живет да не выходит, – я засмеялся.

– Гений! Гений! – восхищенно воскликнул мой собеседник. – Ну мне пора, – и пожав руку, выскочил из троллейбуса.

3

В Солнечном я был недолго. Встретился со своим нетерпеливым кредитором (о чем рассказывать неинтересно) и отдал ему почти все деньги, вырученные за Достоевского – расплатился. На душе посветлело.

Того, что осталось, хватило еще на две бутылки «Стрелецкой» – по самой что ни на есть *коммерческой цене* (не по талонам).

Тридцатитомный, большой и тяжелый, Достоевский тогда стоил достаточно дорого. А билеты на электричку почти ничего не стоили. Водка дорожала в соответствии с падением курса рубля – день ото дня и очень заметно. В городе ее почему-то не было. А в Солнечном почему-то была. И кто мог купить, покупал.

Короче, на Достоевского, на тридцатитомного, полного, академического, можно было бы жить больше месяца, если б не долг. А месяц был август. Краснели гроздья рябины. Помню, смотрел я в окно электрички и думал, как продал легко его, сдал. Страна у нас при всем при том (при том, что я сдал Достоевского) оставалась по-прежнему *литературоцентричной*: ехали и читали – кто детективы, кто классику... кто роман, кто басню... А кто-то в окно смотрел, кто читать не желал или нечего было. Кончилось лето почти. Гроздья рябины. Я лета не видел.

Это по прошествии дней многим будет казаться, что в те часы накануне грандиозных событий все только и думали об одной политике. Вот и не так. Я лично, глядя в окно электрички, переводил полного Достоевского в килограммы говядины (а также хлеба и сахарного песка) – в денежном эквиваленте.

Самым дорогим был Достоевский в спичках (если в мировых ценах). А также в отечественных презервативах. А также в ворованных дрожжах, что продают пачками возле проходной комбината на Курляндской улице.

Но и без спичек, и без отечественных презервативов, и без ворованных дрожжей можно было бы жить на Достоевского месяца два-три, получалось.

Если б не долг.

Я второй месяц нигде не работал.

А жил я у парка Победы в сталинском доме с высокими потолками.

Один – не один.

С некоторых пор я полюбил не торопиться домой, если это можно называть домом.

В тот вечер вот что случилось.

4

Около девяти приходит ко мне с куриным паштетом институтский приятель Валера, и не один.

– Познакомься, Надей зовут, – так он представил.

Ну, Надя и Надя.

Хлеб я купил, и мы выпили за Надежду. И за наше общее, что ли, здоровье. И потом не чокаясь, ни за что – по простоте отношений.

Поначалу пить не очень хотелось.

После третьей Валера закомплексовал. Он просил извинить его, что пришел ко мне с Надеждой одной, без подруги Надежды.

– У нее такая подруга!..

– У меня такая подруга!.. – подтвердила подруга Валеры.

Однако «Стрелецкая» славно пошла.

За стеной загудело. Это включился пылесос не без помощи моей полубывшей жены. Он всегда включается, когда ко мне приходят гости. Жена полюбила чистить ковер. Ненавижу с детства этот ковер, эту мешанскую роскошь.

– Удивительный человек, – сказал Валера, открывая вторую бутылку, – он женился на аферистке. Она с ним фактически развелась, живет с хахалем в его же квартире, оттяпали комнату, и теперь они, представляешь, вы-трав-ли-вают, вы-трав-ляют его отсюда, гонят на улицу! Олег, помяни мое слово, ты здесь жить не будешь!

– То есть как вы-травливают... вытрав-ляют? – спросила Надя Валеру.

– Буквально: собакой!

– У них овчарка афганская, – я Наде сказал.

– А у него на собак аллергия.

– Преувеличиваешь, – сказал я, – сильно преувеличиваешь.

Я не против истины, но Валера, действительно, преувеличивал. Хотя в его словах доля правды была. Не хочу развивать коммунальную тему, она мне противна. Другой жанр. Если послушать Валеру, я какой-то болван, недотепа. Все гораздо сложнее. И с женой, и с той же собакой.

Между прочим я не разводился с Аглаей (мою жену Аглаей зовут, и ничего тут не поделаешь...); формально мы в браке.

– А давайте-ка выпьем за вас, за присутствующих! – Надежда встала.

И мы – стоя. За нас. За мужчин.

Пылесос нам не был помехой.

Валера рассказывал про школу брокеров, куда он пойдет и всем покажет. Тогда мы увидим. Он заработает миллион уже в этом году. Спрашивал, пойду ли я в брокеры? Отчего ж не пойти. Я ответил:

– Конечно.

– Хочу с Олечкой, – Надя вдруг захотела. – Олечка. Олечка. Олечка.

Тем не менее она сидела у него на коленях.

Валера гундосил:

– Ну ты, Надь, что ты, Надь... я ведь, Надь, я ведь тоже хороший, Надь...

Обижать Валеру, Надь, я не имел, Надь, морального права – он гость, Надь, пускай ты и говорила: «Олечка, Олечка...» (Они были пьяные оба. Факт. Я понимал.)

– Слушай, а ты знаешь, на что мы это, пьем сегодня? – вдруг встрепенулся Валера. – Олечка Достоевского продал!

– Бюст? – спросила Надежа.

– Сочинений, – сказал я, – собрание. Полное!

– Бюст наверное дорого стоит, – о каком-то все грезил бюсте.

– Живет на Сенной, – Валера мне объяснил, – у тетки живет. А ты был на Сенной? Барахолка... Три тыщи народу...

– Если есть что продать, я продам, – Надя сказала, обнимая Валеру. – Хоть бюст, хоть что.

– Книга не водка, – я тоже сказал, – она должна быть дорогой.

Чужая мысль, не моя.

И небесспорная.

Оттого что я вспомнил ее, чужую, меня замутило. С некоторых пор организм не переносит цитаций. – Я встал и пошел на кухню. Шатало.

Я хотел попить холодной воды, но из крана почему-то текла только горячая, видно, кран у нас работал неверно.

Горячую я пить не желал.

Элька вылезла из-под стола и зарычала.

– Поди прочь, животное, – сказал я собаке.

– Не называй Эльвиру животным! – это вышла моя жена, вернее, уже нежена из своей... моей, вернее... в общем, из другой комнаты.

– Сука, – сказал я собаке на зло жене.

– Алкоголик! – закричала Аглая. (Па-па-па-бам!.. К вопросу о музыке...) – Ты нарочно дразнишь ее, чтобы она тебя укусила!

Я не был алкоголиком. Я стал выпивать лишь в последнее время. И потом не потому на меня рычала собака, что была мною дразнима, а потому что... не знаю сам почему... потому что знаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда некуда больше пойти?..

– Пошла отсюда, пошла отсюда, – повторял я собаке, – скотина плешивая!..

– Артем! Он хочет, чтобы его укусила Эльвира!

– Сука, – продолжал я свои оскорбления.

Ее вошел в турецком халате.

– Артем! Посмотри на него!..

Ее посмотрел.

– Гашенька, моя дорогая, – заскрежетал ее зубами (своими зубами), – Гашенька, моя дорогая, ты только скажи мне, я его в порошок сотру!..

– Скажи скорей ему, Аглая, за что тебя твой муж имел? – не удержался я передразнить Пушкиным.

На сей раз цитата, точная или неточная, получилась все-таки к месту, и для меня – как глоток свежего воздуха (право, не ожидал). Аглая взвизгнула. Собака твякнула. Ее дал мне в глаз. Я дал в глаз ему. Мы сцепились. Затрещал халат турецкий. Попадали стулья. Посуда полетела со столика.

Но силы были неравные. Ее весил больше. Ее был, к тому же, трезвым, надо отдать ему должное. А мои, им было не до меня – там, за дверью они занимались любовью, они могли не услышать. Хотя крик стоял еще тот.

– Я сожгу их в печке! – кричала жена про какие-то деньги. Про какие же деньги, интересно, она так надрывно кричала? И кричала ли она взаправду про деньги? А может, про письма? Про чьи? Не приснилось ли мне это позже в больнице? Не самому ли придумалось?

Я же, точно, кричал:

– Аферисты!

В общем, картина нелицеприятная.

Стоял у нас большой медный самовар на буфете. Память о бабушке. В детстве я прятал в нем сигареты. Жена говорила, что я подарил ей самовар этот на день почему-то ее рождения. Неправда. Я не дарил. Но пусть.

Он-то и загремел мне на голову.

В глазах потемнело. Уездили клячу, слышалось мне (или вслух произнес – кто теперь знает?).

Надорвалаааась.

Я потерял сознание.

5

Моя фамилия Жильцов. Олег Жильцов.

Жильцов Олег Николаевич.

Странная фамилия Жильцов; Нежильцов мне кажется более внятной.

Естественно, в школе я был Жильцом. И во дворе был я Жильцом. Что лучше, конечно, как думаю я сейчас, чем быть Кирпичом, например, каковым был мой враг Кирпиченко. Но кирпич, я думал тогда, – это твердость, увесистость, прямота, а что такое жилец? Я недолюбливал свою фамилию. Я недолюбливал свою фамилию за то, что она начиналась почему-то с малосимпатичной буквы Ж, за то, что в ней явно слышалась ЖИЛА, за мягкий знак, за желе, за глупое цоканье. Учителя, мне казалось, произнося Жильцов, слгатывали слюну.

Иногда я протестовал. Ко мне обращались: «Жилец». – «Я не жилец», – отвечал я сурово.

В шестом классе в гостях у Оли Кашицкой я впервые увидел словарь Даля. Полюбопытствовал. Не найдя слов неприличных, ни того, ни другого, ни третьего, открыл на жилце. Так вот кто такой жилец.

«Кто жив, кто живет или кому еще суждено жить».

Хорошо это или плохо? Пожалуй, с этим можно смириться.

Хуже: «Постоялец, нанимающий помещение». Еще хуже: «Паренек для прислуги».

Неясно, как относиться к – «уездному дворянину, жившему при государе временно». Вроде бы дворянин – вполне сносно, но почему «при» и каком еще государе?

6

Сотрясенный мой мозг алкал безмятежности.

Сотрясенный мой мозг алкал, говорю, безмятежности, а тут такие события.

Вот и я теперь: кого не спроси (всех, кто помнит еще) – до мельчайших подробностей помнят Дни Великого Катаклизма.

Мне же нечего вспомнить.

В больнице им. 25-го октября встретил я день 19-го августа, и тем он запомнился мне, что сильно тошнило. 20-го тоже сильно тошнило, и 21-го тоже тошнило, но меньше, не так уже сильно. Потому что кололи магнезию. Мировые силы сходились в единоборстве, решались судьбы народов, а мне, равнодушному к их судьбе, кололи магнезию в задницу – такое ужасное несоответствие!

Прежде, чем уколоть, сестра сообщала обязательно новость: дан такой-то приказ, ультиматум такой-то отвергнут, Борис Николаевич Ельцин почему-то с броневика обратился к народу. Тошнило. С победой демократии перестало тошнить, и я снова почувствовал желание что-нибудь съесть, но странное дело, – когда я потом, по прошествии дней, месяцев, лет, видел на телеэкране лица героев, особенно то, одутловатое, с выражением отеческой заботы, сразу припоминался нервный, неровный сестрицын голос, и начинало поташнивать.

В те дни я и не думал вникать в происходящее, я вообще старался не думать, или просто не думал, в не всякой зависимости от того, думал ли я думать или не думать.

Просто не думалось – вот и вся моя мысль.

Отголоски исторических потрясений, затухая в сотрясенном мозгу, ничего не доказывали, кроме – что тошнит не без причины. «Белый Дом... – переговаривались сестры – ... наш Белый Дом...» – «Белый Дом. Белый Дом. Белый Дом», – позвякивали ложками нянечки и везли макароны желающим есть. Не наш ли? – глухо во мне отзывалось и глохло. «Будет штурм, – тревожились, – Белого Дома». А мне так представлялось: дом, в котором лежу (обязательно белый), вот-вот начнут штурмовать и будут брать поэтажно. Знание успокаивало. Я больше не думал об этом.

Теперь, когда почасовая хроника событий опубликована, я склонен считать, что самовар загремел мне на чайник в исторический момент принятия рокового решения. Мятеежники собрались на последнюю сходку. Трубецкой сказал: «Да!» – Самовар навернулся. Я потерял сознание. Не сомневаюсь, Валера с Надеждой в этот миг, счастливые моим отсутствием, разрядились, как молнии, в любовной схватке, – и я даже многих спрашивал потом: а что было с вами накануне известных событий – в такое-то время? – и ведь с каждым что-то случалось. А раз так, раз произошел, в самом деле, некий неведомый всплеск вселенской энергии или что-то вроде того, мирового порядка-масштаба, должен ли я, многогрешный, со своей стороны роптать на Аглаю? Ну, упал самовар и упал. О другом вспоминать не хочу. Аглая, прости.

Ждали жертв. В ночь на двадцатое, узнал я потом, когда вспоминали другие, а мне полегчало, – в ночь на двадцатое ждали жертв. Кого-то, действительно, привезли, но не в нашу палату. Привезенный оказался белогорячным.

Я поправлялся. Меня посещали. Пришел как-то Валера, принес бутылку кефира и печенье со знаковым именем «Привет Октябрю». У него остались мои ключи. Жил Валера теперь в моей комнате – вместе с Надеждой.

– Не волнуйся, мы присмотрим за комнатой. Все будет в порядке.

Я и не волновался нисколько.

– Удивляюсь, – как всегда удивлялся Валера загадке моей женитьбы, по-моему, самой обычной, – как ты смог? Как ты смог на такой?

Развивать эту тему мне не хотелось.

Оказывается, в ночь на двадцатое Валера и Надежда *были на баррикадах*. Они защищали Мариинский дворец, оплот тогдашней *законно избранной* местной власти. К счастью, нападающих не было. Защита прошла успешно.

– Ты представить себе не можешь, – вдохновенно говорил мне Валера, – как это было здорово! Как прекрасно! Какое единение людей! Самых разных! Самых-самых разных людей! Ты знаешь, я впервые ощутил себя счастливым. Такой был единый порыв! Общий восторг!.. Как жаль, что тебя не было с нами! Если б не это, – он показал на мою голову (мне – на мою), – ты бы был обязательно с нами.

– Извини, – сказал я как можно мягче, чтобы не обидеть Валеру, – вас тоже не было со мной.

– С тобой? Сравниваешь... Все было так стремительно. Когда мы вбежали, ты лежал на полу.

– Ну и ладно, Валера, – я пожал ему запястье по-дружески. Он сидел рядом, я лежал, улыбался.

Страшно представить, что было бы, если бы на площадь перед Мариинским дворцом выехали настоящие танки. А тут Валера с Надеждой на баррикадах. Все гибнут кроме Валеры. Надежда гибнет последней. А Валера контужен. И вот мы с ним лежим в больнице им. 25-го октября. Соседние койки. Я, поправляясь, подаю ему пить. Он герой. Я – пришибленный самоваром.

Страшно представить, как мог завершиться этот сюжет. Страх парализует рассудок.

Как-то раз я получил передачу – экзотический фрукт киви (в тот год он был нам еще в диковинку), а к нему прилагалась записка:

«Дорогой друг! Знаю, знаю, что Вы поправляетесь. Искренне желаю скорейшего и полного выздоровления. Не смею обременять Вас своим непосредственным присутствием, но прошу принять мое заверение в дружбе. У меня есть для Вас небольшой сюрприз. Когда выпишитесь, обо всем узнаете. Жму руку. Ваш Д. Ф. Л.»

Кроме «дефлорации» и «дефила» никаких ассоциаций «Д. Ф. Л.» не вызывало.

Я был больше обескуражен, чем тронут. Я не знал – от кого. Целый вечер перебирал всевозможных знакомых, и только ночью, во сне, вдруг озарило: Долмат Фомич Луночаров, троллейбусный пассажир! Я мигом проснулся. Палата храпела. Луночаров мог найти меня через Аглаю, я же дал ему телефон. Я был потрясен вниманием Луночарова. И немного испуган. Сюрприз... Не люблю я сюрпризов.

– А ты ведь везучий, везучий, – говорил мне однажды Алексей Евдокимович (с пробитым ломиком черепом). – Могли б и убить. За выпившего никто не спросит. А то бы собакой еще затравили... С выпившим, что хошь, все позволяется...

– Повезло, повезло, – соглашались другие травмированные.

Наступила календарная осень. Дети в школу пошли, у взрослых обострились хронические заболевания. Серая ржавчина коснулась зелени – во дворе рос тополь. Я поправлялся. Вставал.

Незадолго до выписки еще раз пришел Валера, принес опять же кефир и печенье принес, «Радость детства» печенье.

– Понимаешь, они тебя изведут. Тебе не ужиться с Аглаей.

– Понимаю, – сказал я, – а что же мне делать?

– Главное, не делать глупостей, – дал Валера дельный совет.

– Ну спасибо, Валера.

– А что? Тебе нужен покой. Плюнь на эту квартиру. Пока. А потом – видно будет... Давай сделаем так. Мы сейчас поживем у тебя, поприсмотрим с Надеждой за комнатой... Ничего, у нас получается, мы справляемся, ты не волнуйся... А ты... Ты пока что у Надьки-

ной тетки поселишься, есть комната свободная, в двух шагах от Сенной... Комфорт не обещаю, но зато в центре города, вид из окна, сам понимаешь, и второе – отдохнешь, расслабишься, она бандитов боится, не хочет одна... По крайней мере, не сумасшедший дом, это я тебе гарантирую. Соглашайся. Ну?

– Гну, – сказал я Валере. Он был прав. Возвращаться мне не хотелось. Я хотел сменить обстановку.

– Тетка-то, – спросил я, – наверное, сильно ненормальная?

– Нормальная тетка. С ней Надька жила. Соглашайся.

Я подумал: пожалуй... И ответил:

– Давай.

Глава 2. Сенная

1

Пока я лежал в больнице, многое у нас изменилось. Петербург, в частности, стал опять Петербургом, а был последний раз Ленинградом. Не чудо ли это? В Петербурге я вышел на волю, а стукнуло меня в Ленинграде еще. Как для других, не знаю, но по мне метаморфоза *Ленинград – Петербург* далеко не формальность. И отчасти еще потому, что я перебрался – буквально: из бывшего *ленинградского* сталинского дома возле парка Победы – в бывший доходный *петербургский* дом в трех шагах от Сенной.

Екатерина Львовна жила на последнем этаже, кажется, на пятом, или на четвертом, – я так и не сосчитал, сколько этажей в этом доме – кажется, пять, а может, четыре... Может быть, шесть, не считал... Время небывалое было тогда, взбрыкивающее, под стать ему состояние головы – то восторг, то ипохондрия, – к тому же приходил я нередко (забегая вперед, говорю) подшофе, – не считал я ступеньки... В любом случае, чтобы к себе попасть, я должен был еще повыше подняться по деревянной скрипучей лесенке, потому как жилище Екатерины Львовны было странным образом само по себе двухэтажным: внизу – ее комната, наверху – то, что как бы мое, антресоли типа кладовки – под самым скатом пологой крыши: когда на матрасе лежишь, слышно, как дождь стучит-убаюкивает.

А я часто лежал. И все слышал – и дождь, и воркование голубей, и кошачьи гулянки.

Что до вида из окна, то здесь насчет красоты Валера все-таки преувеличил немного. Окно у нас было общее, разделенное потолком-полом: нижняя, большая часть окна приходилась на комнату Екатерины Львовны, верхняя, меньшая – была подо мной. Говорю «подо мной», потому что действительно подо мной – не выше матраса. Если бы захотелось во двор посмотреть, я бы, на животе лежа, склонил голову вниз и лбом уперся бы в наличник, или как он называется правильно – то, что с этой стороны у окна, а не с той? И увидел бы я там брандмауэр, иначе стену сплошную, – и крышу грубой пристройки. Малорадостный вид. Но это меня совсем не смущало. Глядеть в окно было не за чем. И не на что. Я и не глядел. Только раз поглядел или два.

И все.

Нормально. Было бы хуже без лампочки. Подвешенная к перекладине, она меня выручала. Она делала зримыми некоторые предметы. То есть, конечно, зримыми все становились предметы, когда освещались, – но лишь некоторые я признавал фаворитами.

Лежа, я мог их рассматривать.

На худой конец просто видеть.

Или замечать их присутствие, – что на самом деле мне больше всего и нравилось, – причем боковым именно зрением, невзначай, когда, не думая ни о чем, повернешься на правый бок, в общем-то строго говоря, к стене, хоть и с окном (как бы).

– Все же лучше, когда что-то есть, чем когда нет ничего, – сказала Екатерина Львовна в день знакомства. – Что найдешь наверху, все твое. Не стесняйся, бери.

Корзина, коробка, картонка и похожая на маленькую собачонку детская вязаная шапка с помпоном, повешенная на кривой гвоздь и забытая всеми на свете. Отчего-то именно к ним, простым и ненужным, я проникся нежностью. В них что-то было. На самом деле, ничего не было. Но мне нравилось их сочетание. Чем-то трогало душу. Корзина, коробка, картонка... Были бы живыми, я бы с ними мог перекинуться парой слов о проблеме, допу-

стим, самоидентификации (или самосинхронизации... (или о понимании, допустим, понятия самодостаточности)), так ведь не были. Впрочем, и хорошо, что не были: не надо ничего допускать. А я был. Был, и теперь уже по принуждению на равно всему остальному освещаемую сороковаттной лампочкой какую-то щетку смотрел, потому что не мог не замечать ее неравномерной облезлости. Она меня, щетка, тем уже злила, что привлекала зачем-то внимание. Словно дразнила: ну что, слабо выбросить? Из принципа не выбрасывал. Хотя мог.

– Чай пить пойдешь? – кричала снизу Екатерина Львовна, сбивая меня с какой-нибудь оригинальной мысли. Если чего не жалел я, так это мыслей своих, тем более оригинальных. Ничуть.

Поднимался с матраса – и вниз по ступенькам: скрип, скрип. У нее ужасно скрипели ступеньки.

С Екатериной Львовной мы сразу поладили. Она очень боялась грабителей. Уверенность в том, что живой кто-то дышит поблизости, избавляла Екатерину Львовну от ночных безотчетных страхов. Она бы еще больше меня уважала, если б умел я храпеть. Но я не храплю.

Похоже, Надежда объяснила тетушке, что мне «нельзя напрягаться». Екатерина Львовна была вызывающе деликатна со мной и не приставала с расспросами. По ее разумению, на меня *наехали*, и она подозревала, что я связан с Надеждой темным делом каким-то. Может, она думала, что я Надеждин любовник? Что Надежда мне чем-то обязана?.. В некотором отношении она благоволила ко мне и... как бы это выразиться... подкармливала. Про Надежду говорила, что та сирота. И во мне прозревала тоже нечто сиротское. Все чаем норвила угостить, я не отказывался. Спущусь вниз – посидим. Любила поговорить, когда слушают.

Она выписывала «Известия» за то, что там печатали о погоде по всей стране, и в целом придерживалась правильных взглядов. Вот, скажет, намерен к нам Солженицын вернуться. Хорошо-таки. Хорошо. А то вдруг за чаем процитирует Горбачева: «Свобода, дескать, стала уже высшей ценностью»...

– Армия-то, считай, на пороге реформ...

Или так:

– Нет, – говорит, – слишком большие мы, слишком громадные... Права Галина Васильевна. Надо нам поделиться на сорок частей и дело с концом... Вся беда от того, что у нас одно государство.

Охотно о себе рассказывала. О жизни. Юность суровая, война, блокада, по двенадцать часов у станка стояла. Снаряды делала, поросят, вот таких... Вишь, руки мужицкие... Муж-то по дурости сел при Брежневе да так и не вышел. Полы мыла в учреждении. Воспитала Надюху, а та – (опять) – сирота...

– Ты смотри, ее береги...

Объясняю в десятый раз, что видел эту Надюху всего один раз – нет, не верит.

Уж слишком тепло обо мне отзывалась Наденька.

Спросит порой:

– Ты что хочешь от жизни?

Отвечаю:

– Трудно сказать.

Помолчим.

– А вы?

– А я справедливости.

Возьмет нож и начнет на разделочной доске делить гуманитарную помощь из объединенной Германии. Спрашиваю:

– А не жалко? Как же так на сорок частей – великую и неделимую? Вы ж ее в войну защищали, что – не жалко теперь?

Тык, мык – а потом убежденно:

– Это при Сталине! При Сталине все по-другому было! Тогда было, что защищать!

– Ну так что же, за Сталина? – спрашиваю. – За Сталина, так что ли выходит, по-вашему?

– За Сталина!

Чок стакан мой своим – чокаемся проворно.

Чокнулись – надо пить. Выпили – закусили.

Не только чаевничали.

2

Сенная Площадь – вот стихия Екатерины Львовны. Когда узнала она, что я продал книги, очень обрадовалась и с жаром меня похвалила

– Молодец. Молодец! Так и надо. Надо все продавать. Теперь все продается.

Еще весной Екатерина Львовна поделила имущество по категориям – с таким расчетом, чтобы хватило на 500 дней (именно за 500 дней предполагалось тогда построить капитализм в России), и понесла в соответствии с разработанным графиком личные вещи на знаменитую барахолку. Насколько я понимаю, Екатерина Львовна капитализм представляла как раз коммунизмом, куда можно войти без имущества. Не знаю, племянница ли на нее повлияла или просто стало жалко посуду, но когда очередь до стекла дошла (перед тем самым путем), Екатерина Львовна вдруг образумилась, не стала продавать чашки и блюда, а стала продавать бутерброды. Это был более высокий уровень предпринимательства. Многотысячная барахолка, пребывавшая на свежем воздухе, все время хотела есть. Предпринимательницы вроде Екатерины Львовны, жившие рядом, обносили ряды бутербродами и блинами. К моему появлению в ее доме Екатерина Львовна уже всерьез подумывала о блинах. Но блины надо печь, бутерброды же с нехитрым *дефицитом* наподобие вареной колбасы покупались *по коммерческой цене* в ближайшей кулинарии. Для блинного предприятия Екатерине Львовне кроме муки требовался ассистент. Я наотрез отказался.

– Увольте. Мне некогда.

– Что значит некогда? – кипятилась под антресолями Екатерина Львовна. – Может, ты блины печь не умеешь? Так я научу.

– Нет. Спасибо. Я сам по себе.

(Вставить не хотелось, лежал на матрасе.)

– Сам по себе – быстро ноги протянешь. Надо занимать активную позицию в жизни.

Где же твой *авангард*?

– Какой еще авангард?

– Сам знаешь какой.

Я не знал. Честно не знал. Я так и не узнал, что понимала Екатерина Львовна под *авангардом*.

А Сенная мне и без Екатерины понравилась Львовны, и без ее авангарда.

Все-таки в отличии от хозяйки-авангардистки, я оставался традиционалистом; моя собственная традиционалистическая природа уверенно подсказывала мне самый традиционный и в то же самое время самый простой, короткий и закономерный путь на Сенную.

Я просто снял часы однажды с руки и спустился вниз, к людям.

Екатерина Львовна поняла, что к производству блинов я не готов, и, скрепя сердце, осталась при своих бутербродах.

3

В том сентябре я целиком принадлежал Сенной площади.

Если не дремал на антресолях Екатерины Львовны, значит, *был* скорее всего на углу Сенной и Ефимова – был: сидел на деревянном ящике или – был: стоял на ногах, – но мог быть и поближе к метро, в более привилегированном месте.

На Сенной быть радостно, Сенная место такое.

Хочешь – будь, хочешь – не будь.

Всего удивительнее, что на Сенной я повстречал немало знакомых. Одни бесцельно шатались, пораженные невиданным изобилием. Другие приходили с целью купить что-нибудь конкретное – пилу по металлу или талоны на мыло. Третьи – продать – вилок набор или дачный карниз. Особо *крутых* (героин, редкоземельные элементы, Калашников...) среди моих знакомцев не было, и я тоже при встрече не мог никого ни чем удивить. Самый, пожалуй, крутой – мой случайный попутчик в прошлогодней поездке в Москву (доцент института холодильной промышленности) – приволок увесистую греческую амфору с отбитым горлышком. А бывший завуч английской школы, с которым мы раньше пересекались в рюмочной на Суворовском проспекте, промышленял теперь пуговицами всех окрасов, размеров и форм, и сам покупал, если попадались у кого-нибудь перламутровые. «Я от них, – говорил, – без ума».

Нет, я, конечно, далек от мысли, что нет ничего лучше Сенной площади. По крайней мере в Петербурге...

Ну и так далее.

Есть. Есть Невский проспект и другие достопримечательности...

Но вот, в самом деле, на тогдашней Сенной я ни разу, к примеру, не встретил нищих, а на Невском проспекте с каждым месяцем их становилось все больше и больше. Оно и понятно, сидеть или стоять на Сенной с протянутой кепкой означало бы продавать эту самую кепку. Отчего же тогда не положить рядом подметку, шуруп, крышку от чайника, пустую банку от пива?.. И не так важно: купят, не купят. Главное, заявить!.. И никакого уныния!.. Тонус! Высокий тонус!..

А как она манит, как затягивает! Сегодня пришел с часами, завтра принесешь старинный барометр, послезавтра – домашние тапочки, или нет, лучше значки, школьную твою коллекцию, столько лет пролежала без дела, Горький, Куйбышев, Калинин... города, имена, события... 50 лет Октябрю... 20 лет заводу точных приборов... Прощай, прошлое! Прощай! Главное – не попасть под трамвай, он, погромыхивая, а на повороте с ужасным скрежетом, медленно, с трудом, еле-еле пробирается сквозь толпу, – ну какое же скоростное движение может быть на Сенной площади? – тем более когда Долгострой Метростроя за огромным бетонным забором царственно занимает всю середину...

Она дышит историей.

Когда говорили на Сенной, что скоро Сенную разгонят, что тогдашний мэр города Собчак уже подписал будто бы какой-то грозный указ, всегда кто-нибудь в толпе обязательно восклицал: «Пусть только попробует!»

– Пусть только попробует. Будет бунт!

Бунт, бунт... Ужасное столпотворение... Тем более ужасное, что рисуется богатым воображением, или, скорее, бедной памятью, потому что не вспомнить, где об этом читал, не сам же придумал, не приснилось же это во сне. Как прибывает народ на Сенную, как шумят, как волнуются, руками размахивают...

– К топору!

А что такое Собчак?

И вдруг —

расступились, умолкли. Государь встал в коляске и руку поднял. Государь:

– На колени! – Просите у Бога прощения!

Он до этого что-то еще говорил. Я не помню, что он сказал, но помнил когда-то. Что не следует нам подражать, что ли, буйству французов и тогда же вовсю бушевавших поляков. И что вот вы-де забыли веру отцов. И Сенная, вся Сенная, вся как один, упав на колени, вся на Спас-на-Сенной со слезами стала молиться, и сам государь, усмиривший народ, молился со всеми на Спас-на-Сенной, где теперь интенсивно скупают валюту, ордена и медали, иконы и золотосодержащие микросхемы какие-то новые люди с особой печатью отличия на лице – от нас, от меня, хотя, если речь обо мне, я себя не видел давно уже в зеркале.

А Собчак-то? Он-то откуда? Он-то кто?

И опера Глинки. Мой собственный Глинка. Глинка-Неглинка, поют в голове.

– Книг давно не читаю.

– Я тоже, – признается приятель, – скоро в Польшу опять.

Я стою со значками, мой университетский товарищ – с банкой французского какао, привез еще летом из Польши.

Мой приятель как бы историк – раз в неделю, в Лицее...

Царскосельский учитель...

Я бы мог спросить про холерный бунт, да боюсь он тоже не помнит.

Что-то со мной стало происходить неладное. Что – мне трудно было понять, но в одном я себе отчет отдавал: это сны, – стали мне видеться-слышаться странные сны, ладно бы музыкальные, это пускай, да ведь чересчур выразительные какие-то – рельефные, выпуклые, кинематографичные, с такими замысловатыми поворотами, с такими бывало причудливостями и неожиданностями, что, случалось, пробуждался я не иначе по нескромности своей и самолюбивости, как с тщеславной мыслью об авторстве: да неужто я сам так сочинительствую? Раньше я сны забывал моментально, плохой из меня сновидец. Может, и сны качественные, даже наверняка, но для бодрствующего для меня вся эта жизнь во сне втуне прошла, почти ничего не осталось. А тут вдруг помнится до мельчайших подробностей, а то как бы и не было ничего, и вдруг посреди дня весь сон сам собой вспоминается. И все было бы ничего, если бы явь соответственно не тускнела и соответственно если бы не забывалась быстрее, чем сон, куда более яркий, значительный, сильный. Я тогда еще до того не дошел, чтобы путать их, сон и действительность, но потом, когда вспоминались, сомневался, к чему отнести, не приснилось ли это? Получалось, что конец сентября больше снами запомнился. На Камчатку поехал, а в поезде мухи летают, це-це, пассажиры боятся укусов... Купил у Валеры на греческом базаре ломаный глобус с двумя Австралиями, а хозяйка, подмигивая, молодец, говорит, хорошо в нем чай грузинский от Никиты Сергеевича прятать, глядишь, выживем... Или вот с покойным Потапенко из четвертой палаты (перелом черепа в трех местах) вместе стихи сочиняем, запомнилось только:

ужасней шепота натурщиц

халтурщик сукин сын халтурщик —

кто халтурщик? почему халтурщик? зачем сукин сын?.. И еще – профрейдистское: Екатерина Львовна будто простужена и просит горчичник ей поставить, а мне как-то неловко ей ставить горчичник и вру я ей, чтобы горчичник не ставить, будто в Крым горчичник уехал, зато есть, говорю, для согрева чуть-чуть и, гляжу, стакан уже на столе, а в нем зубы вставные... Стал я частенько во сне поддавать, до головокружения налимонивался. Во сне. Ну а в жизни было не так выразительно. Как бы и не было – так было невыразительно. Дни слеплялись в комок. Листья верно желтели. Сотрясался Советский Союз. Возрождались, считалось, Россия.

4

В тот раз бутерброды появились раньше обычного – около десяти – самый ранний по времени намек на закуску. У приятеля моего какао еще не купили, но лично мои дела обстояли блестяще: я отдал иностранцу всю серию «Древняя Русь», 24 значка, включая герб города Нарвы. Наш угол, сгруппировавшись, позволил себе немного расслабиться. Почему-то разговор зашел обо мне, меня убеждали не делать глупостей.

– Не вздумай судиться, – выслушивал я увещевания, – только силы потратишь зря. Что потеряно – не вернуть.

– Это гиблое дело, – поддакивал мой неплатежеспособный приятель, подавая стакан. – Что угодно, только не суд.

– Надо было дверные ручки снять обязательно. Неужели не знал?

Все жалели пропавшие ручки.

– И шпингалеты.

Не из бронзы ли были мои шпингалеты на окнах, попытался я вспомнить. Наверяд ли. Что меня они обсуждают, мне это, однако не нравилось.

– И вторую, как миленький, тоже отдашь. Будь уверен, закон на их стороне. По закону теперь, если собака породистая, с родословной, с медалями, ей отдельная комната полагается. Собчак.

Я не верил, не мог он такого придумать. Собчак.

Вспомнил сон про Эльвиру.

– К топору!

Гадкий сон, тем более гадкий, что никогда до сих пор – даже во сне – за мной кровадности не замечалось. А приснилось, что хочу зарубить топором их Эльвиру. Туристским топориком. И что будто в этом вопрос всей моей жизни: дерьмо я, вопрос, или все же не дерьмо? дерьмо или нет? (не к деньгам ли приснилось?...) чтоб топориком тюкнуть?.. И что будто Эльвира, с одной стороны – воплощение зла, исчадие ада, но, с другой стороны, должен я преступить, ибо есть тут порог, ибо в целом к собакам отношусь я нормально, без ненависти, хорошо. И долго терзаюсь. Истерзавшись, пробуя лезвие пальцем, решаюсь я: да! Да, готов! Я готов! Да, да! Да. Вдруг – звонок. Долгий-долгий. Эльвира с прогулки пришла. От звонка и проснулся. Был мнимый звонок.

Этот сон, когда вспомнился, на меня очень сильно подействовал. Что-то было в том сне издевательское, пародийное. Надо мной словно кто-то решил подшутить. Я ж не полный кретин. Я же вижу.

Вижу: подходит старушка к приятелю моему:

– Милый, дай понюхать какао. Все равно не купить, дай понюхать только... Разреши. Разрешает. Банку открыл. (И все наяву.)

– Ой. Спасибо, как пахнет!.. Словно молодость вспомнила... Пахнет-то как!.. Нам такое в войну присылали...

– Знаешь, мать, – произносит приятель, а голос дрожит, – я бы дал тебе, мать, но не дам, я пойду, мать, отправлю отцу в Ростов-на-Дону.

И уходит, не попрощавшись – растрогался. А я остаюсь. Но потом я оставил стакан и оставил компанию тоже.

Я пошел бродить по Садовой. Не знаю что, но что-то нехорошее со мной начиналось, я не хотел нехорошего, и чтобы было все хорошо в моем представлении, я представил себе, я представил в себе ощущение бодрости будто бы мысли. И послышалась гамма, простая, будто я наступаю на клавиши, так вот иду... Если это пародия, – упрямо и бодро рассуждал я о том ничтожнейшем сне, – как посмел я во сне не суметь разглядеть ее, не заметить грубой

издевки, воспринять все всерьез? А с другой стороны, если я, если именно я, сам себя так сподобился выразить, почему я позволил себе над собою так издеваться? Мстить кому бы то ни было (убеждал я себя), а тем более невинной собаке, у меня и в мыслях быть не могло. Этот сон мне приснился несправедливо.

Так рассуждая, я нечаянно оказался на набережной реки Фонтанки, стоило мне взглянуть себе под ноги, как стало понятно происхождение сна. Вот я что вспомнил. Вчера... да, вчера, как и сегодня, я шел вдоль... в до-ре-ми-фа-соль... вдоль Фонтанки, ля-си, точно так же ступал – осторожно – потому что иначе ступать здесь нельзя, невозможно: на каждом шагу – я ничуть не преувеличиваю – буквально на каждом – лежат экскременты собачьи... Вот и разгадка. От загаженного тротуара мысль моя вчера невольно обратилась к Эльвире, я недобрым словом вспомнил ее, ну а дальше, что касается сна, это дело уже сновидческих механизмов. Но и это не все. Мне навстречу вчера шел худой гражданин, судя по поступи, озабоченный тем же (я вспомнил). Без труда догадавшись, о чем я думаю, он обратился ко мне с коротко речью:

– Народ безмолвствует, а воры воруют. Дерьмо лежит прямо на улице. Владельцы собак перестали убирать за своими собаками. Грядут тяжелые испытания. Курс рубля падает. Власть гниет. Разваливается производство. Большинство писателей – бездари. Помните, что я вам сказал. Я знаю. Я сам депутат. Моя фамилия Скоторезов.

– Скоторезов, – повторил я вслед уходящему.

Он же, повернувший на мост и напряженно запоминаемый мною, высокий, худой, но вынужденно смотрящий себе под ноги, неожиданно уподобился гвоздю с помятой шляпкой, – таким и запомнился – вбитым на границе двух административных районов Санкт-Петербурга – Ленинского и Октябрьского – в деревянный мост по имени Горсткин мост, на котором курить запрещается согласно табличке. И хотя собака – далеко не скотина, выше, чем скотина (и больше, чем скотина, друг человека), человек с резкой фамилией Скоторезов и с резвым скоторезовским темпераментом, врезался в память мою и осел в подсознании, чтобы в должный час подпитать мой сон прихотливым пафосом собакоборчества. Мысль моя в тот день, я заметил (если это был тот день, о котором я говорю), начала пробуксовывать. Я ж ее не убил, а всего лишь хотел убить, думал я. Гвоздь торчал из моста, а я уходил – уходил по направлению к дому. Кто – кого? – думал я, ни о ком конкретно не думая. Ощущение «что-то не так», иногда внезапно разливающееся по телу (как если бы с горки да вниз, когда горки, казалось бы, быть не должно), через шаг-другой затухало, уступая тяжелой сосредоточенности на деталях внешнего мира: водосточной трубе, крышке люка, трещинах на тротуаре. Тупое удовлетворение точностью наблюдений – дисциплинирующее. Вот, наблюдал я, сосредотачиваясь, пропали из города воробьи, их более не подкармливают старожилы. Вот, наблюдал, беременных нет больше совсем, никто не рожает. Зато много бубнящих. В самом деле, отчего так много встречается бубнящих? Каждый третий встречный бубнит. Идет и бубнит. Он бубнит. Мы бубним. Мне бубнится. Я заставил себя не бубнить и сразу же оказался на лестнице – около подоконника. На подоконнике лежали окурки. Здесь курят пацаны. Пол-литровая банка окурков стоит на Сенной три рубля. Даже крыша когда у тебя поедет, пробубнило во мне, не пойдешь продавать на Сенную окурки. Поехали, поехали, цеплялось слово за слово, поехали в Еристань. Окурки сортировались. Покрупнее откладывались мною в сторону. Потом то ли шел, то ли плыл, то ли лежал – то и было: лежал. – А не эпилепсия ли это? – спросил государь и схватил меня за ногу. Вскрикнув, я проснулся.

Екатерина Львовна трясла мою ногу с остервенением.

– Вставай, вставай, к телефону!

У Екатерины Львовны нет телефона – обстоятельство, которому не успел удивиться.

– Осторожно, тебе говорят... ой, какой ты... смотри, – она помогала спуститься по лестнице мне, – упадешь, костей не соберем. Аккуратней.

– Который час? – спросил я, спустившись в кухню.

– Откуда ж мне знать? Мы ж с тобой часы наши... тью-тью...

Мне показалась, что она шутит, этого быть не могло... чтобы тью-тью.

И мои тоже – тью-тью?

И ее тоже – тью-тью?

Тью-тью.

Мы пришли к соседке – на этаж ниже. Я никогда не был в этой квартире. Прихожая. Круглый столик. Тью-тью. Трубка снята и ждет меня, лежа. Соседка спряталась от меня, мне так показалось. Это она исполняла гаммы, у нее пианино. Проснись! – дал я команду себе и взял трубку.

– Алле.

– Здравствуйте, – послышалось в трубке, – здравствуйте, Олег Николаевич.

Я с ней поздоровался:

– Здравствуйте. (... с трубкой.)

– Хорошо? Хорошо ли здравствуете? Как здоровье ваше? (Тью-тью?)

– Хорошо, – отвечаю, – спасибо, хорошее.

– Это вас Долмат Фомич беспокоит. Помните, мы в троллейбусе ехали?.. У меня еще книга ваша осталась?

– Книга?.. Моя?

– Ваш экземпляр... Мне Аглая Петровна про вас рассказала, как найти. Через Аглаю Петровну и Надежду Евстегнеевну.

– Какую Евстегнеевну?

– Через Надежду Евстегнеевну, которая в вашей квартире живет. Вместе с Валерием Игнатьевичем. Они телефон подсказали.

– Как же, как же... я понял.

– Олег Николаевич, дорогой, у меня радостная новость для вас. Сюрприз. Я писал вам в больницу, вы помните?

– Да, спасибо, был тронут... и этот... как его... киви...

– Экзотический фрукт...

– Да, спасибо, я получил...

– Ну так слушайте...

– Да...

– Олег Николаевич?..

– Да...

– Вы приняты в наше общество!

– Да?..

– Общество друзей книги!

Что же мне оставалось, как опять «да» не спросить.

Я и спросил:

– Да?

– Да, Олег Николаевич! Поздравляю вас! Состоялся Совет и ни одного голоса против! Все – за! Редчайший случай!.. С вас даже не требуется формального заявления, моей рекомендации оказалось достаточно. Так что, примите мои искренние поздравления, Олег Николаевич.

– Спасибо, – отвечаю растерянно.

Долмат Фомич забеспокоился:

– Ну что вы, что вы, это я вас благодарить должен!.. Такую книгу мне одолжили!.. С печатью... С печатью такой замечательной!.. Не сомневайтесь, Олег Николаевич, я все переснял, зарегистрировал... Спасибо вам... большое спасибо...

Тут я вдруг ощутил необходимость самому членораздельно высказаться и вроде того залепетал, что рад, что не меньше моего Долмат Фомич тоже рад и что оказался ему чем-то полезен, – а сам думаю: на кой леший мне общество это?

– Олег Николаевич, – между тем продолжал Долмат Фомич, – завтра у нас очередное заседание состоится. Очень вас прошу прийти. Заодно и книгу верну. Приходите, не пожалеете, доклад будет интересный. И еще кое-что.

– Но... простите... мне как-то неловко в некотором смысле... знаете, такое ощущение, что я злоупотребляю вашим доверием...

– Только этого не надо. Завтра в семь вечера в Доме писателей на Шпалерной. Знаете дворец Шереметева?

– Так вы писатели, значит?

Долмат Фомич словно даже обиделся.

– Ни в коем случае. К писателям никакого отношения не имеем. Просто мы помещение там арендуем, Дубовую гостиную – раз в неделю. Запомните, мы – Общество друзей книги. Общество друзей книги. Повторите, пожалуйста, – попросил Долмат Фомич неожиданно.

– Общество друзей книги, – произнес я нерешительно.

– До завтра. Жму руку.

– Жму руку, – повторил я опять и как будто, в самом деле, пожал руку своему собеседнику.

– Что с тобой? – спросила меня Екатерина Львовна, когда я положил трубку. – Побледнел как покойник.

– Ничего, ничего, все в порядке.

Когда я поднимался наверх, меня заметно пошатывало.

Тю-тю.

Глава 3. Друзья книги

1

Иначе Дом назывался Дворцом – Дворцом Шереметева. Хотя, говорят, он не был дворцом в силу какого-то формального правила: будто бы никто из царской семьи не ночевал в этих стенах...

В этих стенах, по мнению некоторых, бродят по ночам привидения. Речь не о них. О живых.

Там я познакомился с живыми писателями, но сначала как раз не с писателями, а наоборот, с читателями, дотошными и ретивыми, впрочем, в силу своей необъяснимой ревности не признающими тех живых, с которыми, говорю, я потом познакомился, классиками или хотя бы не классиками.

Только сразу хочу подчеркнуть, к поджогу Дома писателей я не имею ни малейшего отношения. Дом сгорел через три года после описываемых событий.

Нет – не о себе; но будь он хоть трижды провидцем, никто из обитателей Дома не смог бы в ту осень даже вообразить подобного: великолепный особняк с дворцовыми гостиными, роскошной библиотекой, величественным актовым залом превращается, объятый пламенем, в жуткий кирпичный футляр, который потом вообще заколотят на годы...

Соблазн оживить повествование описанием грандиозного пожара, исполненного невероятной символики, по правде говоря, имеет присутствовать (и есть что сказать, главное), но оставим эту тему в покое. Это другая история.

Итак, первым в Доме писателей я встретил вахтера. Точнее, вахтер встретил меня. Он встретил меня решительным возгласом:

– Пропуск!

Нет, не «пропуск»:

– Билет!

То есть членский билет писательского Союза.

Понятно, я, посторонний, был без билета.

– Куда?!

Я сказал, что в Дубовую...

– К кому?! – был краток вахтер.

Не будучи уверенным, что он знает Долмата Фомича, все-таки опять же не писателя, а даже наоборот, как я уже отметил, читателя, я было взялся объяснить вахтеру, что там, в Дубовой, заседает некое общество, если я, конечно, правильно понял... которое...

– Я знаю, кто заседает в Дубовой!

Ну что с таким разговаривать? Хотел повернуться и уйти. Стоило тащиться на эту Шпалерную...

И тут вахтер преобразился.

– Вижу, вижу! Что же я, голова садовая! Ай-яй-яй!.. – запричитал вахтер покаянно. – Вас же только что приняли!.. Да? Вы же член Общества библиофилов? Да? Идемте. – Он вынырнул из-за своей загородки.

Прежней спеси и след остыл. Сам повел меня, демонстрируя теперь чудеса предупредительности. В гардеробе – где было объявлено мне: «Гардероб!» (словно я никогда не видел гардероба) – он чуть не снял с меня куртку мою китайскую, и мне стоило труда изловчиться

разоблачиться без его непрошеной помощи. Далее он рекомендовал: «Туалет», – потому что мы проходили мимо туалета. И сказал про статую Маяковского: «Маяковский».

Дом писателя был имени В. В. Маяковского.

Сам В. В. стоял у подножия лестницы, он был высок и надтреснут. Вахтер извинялся за качество гипса: гипс уже старенький, рыхлый, а тот бугай (я не спрашивал который) – молодой, резвый, вот в день путча злость и сорвал, отломал голову – за стихи, поди, о советском паспорте. Еле приклеили.

А поскольку смотрел Маяковский на парадный вход, по-видимому, надежно закрытый, вахтер, перехватив взгляд статуи, счел необходимым сказать мне:

– Открывается, только когда панихида гражданская... Отсюда выносят... Смертность у писателей – увы, увы...

Мы поднялись по мраморным ступеням на уровень головы Маяковского, здесь была просторная площадка, до Дубовой гостиной семь шагов каких-нибудь, и вдруг вахтер перегородил путь:

– А загадочку не хотите ли разгадать? Хорошая такая. Я всем загадываю. Живая живучка сидит на живом стулечке, тербит живое мясо.

Не могу объяснить, что произошло со мною, было ли это озарение или какое-то внутреннее чутье безотчетно себя проявило, но ответил я незамедлительно:

– Младенец, сосущий молоко матери.

Вахтер уставился на меня обалдело, на губах задрожала кривая улыбка, и, почтительно тронув меня за локоть, пятясь, ретировался.

2

На самом деле, я и не собирался входить в Дубовую гостиную. Я хотел подойти к Долмату Фомичу после. Потому и опоздал нарочно. Но пока они еще заседали, решил подождать, благо рядом был стул, вот я и сел.

Сижу, мимо нет-нет да и пройдет писатель.

Я тогда в лицо никого не знал из писателей. Писатели и писатели. Но некоторые были приметные. Вот идет, на клюку опираясь, – бородат, волосат, а кто – кто, кто? конь в пальто! – теперь-то я точно знаю кто: живой классик, поэт... Еще примета: встретишь – к перемене погоды...

А вот двое идут: один невысокий, в строгом костюме, при галстукe, без бороды, причесанный весь и взгляд суровый, холодный, сразу и не догадаешься, что поэт, а другой, приземистый, в свитере в сером и с бородой, а лицо доброе-доброе, догадайся, что критик... друзья!

А вот седовласый, волосы назад зачесаны, военная осанка, идет уверенно, – знаю, кто: я его книжки еще в раннем детстве читал – «Зеленая рыбка», «Самый лучший пароход»...

Еще была серия такая – «Мои первые книжки»...

– Здравствуйте, Святослав Владимирович, – мог бы сказать, – я ваши книжки в детстве читал. Была такая серия «Мои первые книжки».

Но не сказал. Потому что не знал тогда, что он – это он (кого в детстве читал). А если бы и знал, тогда что ж из этого?

Короче, я убивал время.

Некая писательница остановилась:

– Если вы в бильярдную, лучше зайти с той стороны.

Ага, есть бильярдная.

– Нет, я в Дубовую.

Она хотела сказать мне что-то про Дубовую (или про меня в свете Дубовой), но не сказала, прошла.

И тогда я приоткрыл дверь.

И когда приоткрыл дверь – лишь посмотреть, там ли сидят библиофилы, – даже растерялся от неожиданности, – от того, что был сразу ими замечен. Все повернулись в мою сторону, словно только и ждали меня, а Долмат Фомич (я его еще и распознать не успел) объявил радостно: «Вот он! Олег Николаевич! Олег Николаевич, милости просим! Вот место свободное».

Вошел. (Все на меня глядят.) Вот место свободное. Спасибо. Сел на старинный стул с резной спинкой (тут все старинное).

Один во главе стола стоит, – наверное, доклад читал. Ждет. Рядом Долмат Фомич сидит и все про меня талдычит:

– Это, прошу любить и жаловать, Олег Николаевич. Я рассказывал, вы знаете. Олег Николаевич...

Я глупо головой киваю, раскланиваюсь. Мне товарищескими улыбками отвечают.

– Да, да, – говорит Долмат Фомич докладчику, моложавому старичку с лицом аскета. – Извините. Мы слушаем. Потрясающе интересно.

– Ну так я продолжаю?

– Будьте любезны.

– На чем мы остановились?..

– На мотивах.

– Коллеги, выделим два мотива и рассмотрим их поподробнее. Первый. Бытовой мотив: тривиальное отсутствие карандаша. Второй. Конспирологический: прошу внимания, сознательное сокрытие маргиналии от глаз постороннего...

Моложавый старичок наполнил Дубовую ровно-въедливым голосом профессионального обозревателя сложных тем.

Не скажу, что я сразу понял, о чем доклад. Сначала мне показалось, о криминалистике. Проблема: когда подчеркивают в книге ногтем, как определить каким – указательного пальца или мизинца? Сложный вопрос. Тут, оказывается, пять методов, у каждого метода – свой критерий... Только доклад не о криминалистике был. А вот о чем: о маргиналистике, вспомогательной книговедческой дисциплине, о существовании которой мне до того раза даже слышать не доводилось. В общем – о маргиналиях, владельческих записях на полях и вообще о книжных пометах, всяких там крестиках, галочках, вплоть до отчеркиваний ногтем, едва заметных и потому особенно интересных для исследователя. Оказывается, докладчик не один год работал в этом направлении – систематизировал, описывал, соотносил. Я потом узнал, как его звали. Профессор Скворлыгин. И был он в первую очередь палеопатологом, одним из ведущих специалистов по болезням доисторических животных и первобытных людей; а кроме того – библиофилом, страстным, неистовым, с весьма и весьма специфическим интересом. Это уже мне все объяснил Долмат Фомич сразу же после доклада, но тогда, слушая, вернее, как раз не слушая, потому что очень уж было скучно, я еще ничего не знал о многоумном профессоре. А лекция была – святых вон выноси.

Скучная была лекция. Скучали все, не только я. Долмат Фомич при всей своей заинтересованности, несомненно показной, так старательно напрягал мышцы лица, подавляя зевоту, что казалось, это челюсть его звонко щелкает, а не бильярдные шары в соседней комнате. Я начинал жалеть, что пришел, а когда докладчик приступил к Достоевскому, к его беглым записям на широких полях журнала «Ребус», январь 1880, да, причем, которых за утратой экземпляра не видел никто, а вот он, профессор Скворлыгин, с помощью вторичных данных реконструировал смело, мне просто захотелось встать и уйти. Но я не ушел никуда. Я заставил себя отвлечься. Я вслушивался в стуки шаров с еще большим вниманием. Я гадал над судьбой каждого шара за стенкой. Играли неторопливо, неспешно. Медленно обходили стол и долго прицеливались. Один бил сильно, шар, я слышал, отлетал иногда от трех бортов, другой – тихо, поаккуратнее, порасчетливее, налегая, должно быть, на средние лузы. Он-то и выигрывал, я был в этом уверен. В «американку» играли. Я был вместе с ними. Здесь меня не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.